

ДНЕВНИК
МАШИ
РОЛЬНИКАЙТЕ

Она не писала этот страшный дневник - в 14 лет она учила его наизусть. В камерке гетто, на нарах концентрационного лагеря, бок о бок со смертью. «Что будет с тобой - то будет с этими записками», - говорила Маше мама. И Маша твердила, слово за словом. Смерть прошла мимо неё. Но унесла с собой маму и младших брата и сестру, сгоревших - предположительно, даже место их смерти точно ей неизвестно! - в печах Освенцима. Унесла и ещё многих героев её записок, которые приходилось прятать от фашистов в самом надёжном месте - собственной памяти.

После освобождения из концлагеря Штуттгоф Маша, с выбитыми надсмотрщиками зубами, выданными волосами, пройдя через проверки уже советских властей, вернулась в Вильнюс, нашла отца, к тому времени жена-того на другой, и записала всё, что вытвердила от буквы до буквы, в три толстые тетради и спрятала их в ящик стола.

Но прошло немного времени, после того как евреев загоняли в ограждённые высокими заборами клетушки в городах, а потом - в газовые камеры, как «снова началось: новая волна антисемитизма, убийство Михоэlsa, развал Антифашистского комитета, «дело врачей»... Как будто не было б замученных миллионов людей!» - рассказывала сама Маша, Мария Григорьевна, в интервью «АиФ». И она достала три тетрадки. «Что будет с тобой, то будет с этими записками...» Их напечатали под названием «Я должна рассказать». Перевели на 18 (!) языков мира. И кажется, что не сделали выводов... «Ведь сколько ни утекло воды со времён, о которых я рассказываю, а люди не стали друг друга больше любить. Возьмите отношение к гастарбайтерам, возьмите братские народы русских и украинцев! Везде, то вспыхивая, то стихая, бушует вражда. И для меня это большое место - то, что люди продолжают ненавидеть друг друга. Я не знаю, откуда берётся эта желчь. Но я должна рассказать!»

Она живёт в Санкт-Петербурге, куда переехала после окончания Литературного института к мужу-инженеру, живёт уже одна. Работает: пишет от руки, потом долго набирает тексты на старом компьютере... Писательница Рольникайте пишет всегда на одну тему - даже когда отходит от документалистики, вся её художественная проза, все её герои - оттуда, из застенков. «Мне как-то сказали: «Ну почему вы всё пишете о грустном, Мария Григорьевна? Пишите о любви!» У меня ком встал в горле». Потому что она вся - о любви. Несбывшейся, затоптанной, расстрелянной, убитой. Полной надежды - что когда-нибудь люди станут друзьями.

Осень 1943 г.

(...) Из гетто тянется нескончаемый поток. Надоедливый дождь не прекращается ни на минуту. Мы уже совсем промокли. Течет с волос, с носа, с рукавов. Мама велит детям выше поднять ноги, чтобы не промокли. Рядом с нами другая мать устраивает для своих детей тент: воткнула в землю несколько веток и накрыла пальто. Как странно в такое время бояться насморка...

Мама плачет. Упрашиваю, хотя бы ради детей, успокоиться. Но она не может. Только взглянет на нас и еще горше плачет.

А люди все идут и идут... В гетто мы думали, что нас меньше. Скоро стемнеет. В овраге уже стало тесно. Одни сидят на месте, другие почему-то ходят, бродят, перешагивая через людей и узлы. Очевидно, потеряли своих.

Темнеет. Пока еще видно, буду смотреть на деревья, птичьи гнездышки, ветви, на далекие дома, на каждое их окно. Ведь, наверно, всего этого больше не увижу. Все живет: каждый листочек, капелька дождя, даже малюсенькая мушка. Она и завтра будет жить, а нас уже не будет... Нет! Я не пойду в Понары! Я останусь здесь! Зароюсь в землю, но никуда не пойду! Я не хочу умирать!

Но ведь и те, ранее расстрелянные, тоже не хотели...

Стемнело. Все еще идет дождь. Охранники время от времени освещают нас ракетами. Стерегут, чтобы мы не убежали. А как убежать, если их так много?

Рувик вздрагивает во сне. Он задремал, уткнувшись в мое плечо. Его теплое дыхание щекочет мне шею. Последний сон. И я ничего не могу сделать, чтобы это теплое, дышащее тельце завтра не лежало бы в тесной и скользкой от крови яме. На него навалятся другие. Может, это даже буду я сама...

Опять выпустили ракету. Она разбудила Рувика. Широко раскрыв глазки, он испуганно огляделся. Глубоко, совсем не по-детски, вздохнул.

Раечка не спит. Она уже совсем замучила маму вопросами: погонят ли в Понары? А как - пешком или повезут на машинах? Может, все-таки повезут в лагерь? Куда мама хотела бы лучше - в Шяуляй или в Эстонию? А когда расстреливают - больно? Мама что-то отвечает сквозь слезы. Раечка гладит ее, успокаивает и, подумав, снова о чем-то спрашивает. (...)

Охранники велют нам вставать и подниматься наверх, во двор. Вещи промокли, облеплены грязью. Но они и не нужны. Чемоданчик я все-таки взяла, а узел так и оставила торчащим в грязи. Во дворе толкотня. Еле-еле продвигаемся к противоположным воротам. Чем ближе к ним, тем больше давка. Неужели не выпускают? Из оврага приходят все новые и новые. Разве удержишь такую массу? Нас уже совсем сдавили. (...)

Оказывается, ворота закрыты. Пропускают только через калитку. Приближаемся и мы. Выпускают по одному. Мама беспокоится, чтобы мы не потерялись, и велит мне идти первой. За мной пойдет Рувик, за ним Раечка, а последней - мама. Так она будет видеть всех нас.

Выхожу. Солдат хватает меня и толкает в сторону. Машин там не видно. Поворачиваюсь сказать об этом маме, но ее нет. Поперек улицы - цепочка солдат. За нею - еще одна, а дальше большая толпа. И мама там. Подбегаю к солдату и прошу пустить меня туда. Объясняю, что произошло недоразумение, меня разлучили с мамой. Вон она там стоит. Там моя мама, я хочу быть с нею. Говорю, прошу, а солдат меня даже не слушает. Смотрит на выходящих из калитки женщин и время от времени толкает то одну, то другую в нашу сторону. Остальных гонит туда, к толпе.

Вдруг я услышала мамин голос. Она кричит, чтобы я не шла к ней! И солдата просит меня не пускать, потому что я еще молодая и умею хорошо работать...

Еще боясь понять правду, я кричу изо всех сил: «Тогда вы идите ко мне! Иди сюда, мама!» Но она мотает головой и странно охрипшим голосом кричит: «Живи, мое дитя! Хоть ты одна живи! Отомсти за детей!» Она нагибается к ним, что-то говорит и тяжело, по одному, поднимает, чтоб я их увидела. Рувик так странно смотрит... Машет ручкой...

Их оттолкнули. Я их больше не вижу. Влезаю на камень у стены и оглядываюсь, но мамы нигде нет. Где мама? В глазах рябит. Очевидно, от напряжения. В ушах звенит, гудит... Откуда на улице река? Это не река, это кровь. Ее много, она пенится. А Рувик машет ручкой и просится ко мне. Но я никак не могу протянуть ему свою руку... Почему-то качаюсь. Наверно, островок, на котором стою, тонет... Я тону...

Почему я лежу? Куда исчезла река?

Никакой реки нет. Лежу на тротуаре. Надо мной наклонились несколько женщин. Одна держит мою голову, другая считает пульс. Где мама? Я должна увидеть маму! Но женщины не разрешают вставать: у меня был обморок. А ведь раньше никогда не бывало. (...)



1940 год. Всего через год, оказавшись в Вильнюсском гетто, 14-летняя Маша начнёт вести дневник и учить его наизусть.



Маша и папа стоят справа. Разлучённые, они встретились уже после войны - осколки дружной семьи. Похоронить маму и маленьких брата и сестру они не смогли - тех сожгли в Освенциме.

Фото на странице - из архива М. Рольникайте.

Лагерь! Бараки. Они длинные, деревянные, одноэтажные. Окна слабо освещены. Кругом спуют люди. Все почему-то в полосатых пижамах. У одного барака происходит что-то странное: такие полосатые прыгают из окон. Выпрыгнут и бегут обратно в барак, снова появляются в окнах и опять прыгают. А гитлеровцы их бьют, торопят. Люди падают, но, поднятые новыми ударами, опять спешат прыгать. Что это? Сумасшедшие, над которыми фашисты так подло глумятся?

Нам велели все вещи сложить в одну кучу на площадке перед баракком. В бараки с вещами не пустят.

Площадку охраняют два солдата. Здесь же несмело вертятся несколько одетых в полосатую одежду мужчин. Они тихонько спрашивают, откуда мы. Мы тоже хотим узнать, куда попали. Оказывается, мы находимся недалеко от Риги, в концентрационном лагере «Кайзервальде». Если у нас есть курево или продукты - лучше поделиться с ними, потому что гитлеровцы у нас все равно отберут. Прыгающие через окна не сумасшедшие, а самые нормальные люди, наказанные за какую-то ерунду. Здесь за все наказывают, да еще не так. Одеты они вовсе не в пижамы, а в полосатую арестантскую одежду. Убежать нет надежды, потому что через проволоку пропущен ток высокого напряжения. Еды дают очень мало - двести пятьдесят граммов хлеба и три четверти литра так называемого супа. Часто в наказание оставляют на несколько суток совсем без еды. Они голодают. Если мы им ничего не можем дать - они побегут назад, потому что за разговор с женщиной наказывают двадцатью пятью ударами плети.

Наспех вытаскиваю из чемодана свои записки, сую за пазуху. Но все забрать не успеваю: постовой прогоняет.

Нас выстраивает немка, одетая в эсэсовскую форму. Неужели тоже эсэсовка? Наверно, да, потому что она орет и избивает нас... Сосчитав, дает команду бежать в барак и снова начинает бить, чтобы мы поторопились. У дверей давка. Каждая спешит шмыгнуть в барак, чтобы избежать плети. Другая эсэсовка стоит у дверей и проверяет, все ли мы отдали. Заметив в руках хоть малюсенький узелок или даже сумочку, гонит назад положить и это. При этом, конечно, тоже бьет.

Барак совершенно пустой - потолок, стены и пол. На полу сеники, а в углу - метла. Все. Надзирательница кричит, чтобы мы легли. Кто не успевает в то же мгновение опуститься, того укладывает метла. Бьет по голове, плечам, рукам - куда попало. Когда мы все уже лежим, она

приказывает не двигаться с места. При малейшем движении стоящие за окнами часовые будут стрелять. Выйти из барака нельзя. Разговаривать тоже запрещается.

Поставив метлу на место, злая ээсовка уходит. Женщины называют ее Эльзой. Может, услышали, что кто-то ее так называл, а может, сами прозвали.

Значит, я в концентрационном лагере. Арестантская одежда, прыганье через окно и какие-то еще более страшные наказания. Эльза с метлой, голод. Как здесь страшно! А я одна... Если бы мама была здесь... Где она теперь? Может быть, именно сейчас, в эту минуту стоит в лесу у ямы? И тот же ветер, который здесь завывает под окнами, ломает в лесу ветви и пугает детей! Страшно! Невыносимо страшно!.. (...)

Мама... Раечка, Рувик. Еще совсем недавно мы были вместе. Рувик хотел взять свои книжки. «На свободе будешь читать...»

Свисток! Длинный, протяжный. Смотрю - в дверях опять злая Эльза. Она кричит: «Appell!» «Проверка!» А мы не понимаем, чего она хочет, и сидим. Эльза опять хватается метлу. Бежим из барака.

Во дворе темно, холодно. Из других бараков тоже бегут люди. Они выстраиваются. Избивая, ругаясь, Эльза и нас выстраивает. Ей помогает еще один ээсовец. Вдруг он вытягивается перед подошедшим офицером. Рапортует, сколько нас, и сопровождает офицера, который нас сам пересчитывает. Пересчитав, офицер идет к другим баракам. (...)

Нас загнали назад в барак и снова приказали сесть на сенники, не разговаривать и не шевелиться. Сидим. Вдруг я нащупала в кармане папину фотографию (как она сюда попала?). Посмотрела на папу, и стало так грустно, что я разрыдалась. Его нет, мамы тоже нет, а я тут должна одна мучиться в этом страшном лагере. Я здесь никогда не привыкну. И не смогу жить.

Сидевшая рядом женщина спросила, почему плачу. Я ей показала фотографию. А она только вздохнула: «Слезы не помогут...»

В дверях снова выросли ээсовцы. Приказали строиться. Объявили, что мы обязаны отдать все деньги, часы, кольца - словом, все, что еще имеем. За попытку спрятать, зарыть или даже выбросить - смертная казнь! Офицер с коробкой в руках ходит между рядами. Сбор, конечно, очень жалкий. (...)

В дверях снова Эльза. Ее очень рассмешило, что мы все еще стоим. Поиздевавшись, она велела строиться по двое. Отсчитала десятых и

увела. Стоявшие ближе к дверям сообщили, что женщин ввели в находящийся на том конце площади барак.

Вскоре Эльза вернулась, отсчитала еще десятерых и опять увела. А первые не вышли... Неужели там крематорий? Значит, нас сюда привезли специально для того, чтобы уничтожить без следа. Несколько женщин, стоявших ближе к дверям, убежали в конец строя. Разве это поможет?

Я - в седьмом десятке. Передние ряды тают, их все меньше. Скоро будет и моя очередь...

Уже ведут... Эльза открывает дверь страшного барака. Никакого запаха. Может, этот газ без запаха? Темноватые сени. У стен набросано много одежды. Рядом стоят надзирательницы. Нам тоже велют раздеться. Одежду держать в руках и по двое подходить к этим надзирательницам.

Руки трясутся, трудно раздеться. А что делать с записками? Сую под мышки и прижимаю к себе. Подхожу. Эсэсовка проверяет мою одежду. Забирает шерстяное платье, которое мама велела надеть на летнее. Прошу оставить теплое платье, а взять летнее. Но получаю пощечину и умолкаю. Теперь эсэсовка проверяет рукава и карманы - не спрятала ли я чего-нибудь. Находит папину фотографию. Протягиваю руку, чтобы надзирательница мне вернула, но она разрывает фотографию на мелкие куски и бросает на пол. На одном обрывке белеют волосы, с другого смотрит глаз. Отворачиваюсь...

Нам приказывают быстро надеть оставленную нам одежду и выйти через заднюю дверь. Оказывается, там стоят все ранее уведенные. А те в бараках еще терзаются, думая, что ведут в крематорий. (...)

Наконец впускают в барак. К большущей нашей радости и удивлению, там стоит котел супа и стопка мисочек. Велят построиться в один ряд. На ходу надо взять мисочку, в которую Эльза нальет суп. Его надо быстро выхлебать, а миску поставить на место. В те же, даже несполоснутые, наливают суп следующим. Ложек вообще нет. (...) Дождалась и я своей очереди. Увы, суп удивительно жидкий. Просто черноватая горячая водичка, в которой величественно плавают и никак не хотят попасть в рот шесть крупинок. Но все равно очень вкусно. Главное - горячо. Только жаль, что еда так безжалостно убывает. Уже ничего не остается. А есть так хочется, даже больше чем до этого супа.

Несу миску на место. Смотрю - гитлеровец подзывает пальцем. Не-

ужели меня? Да, кажется, меня. Несмело подхожу и жду, что он скажет. А он ударяет меня по щеке, по другой, снова по той же. Бьет кулаками. Норовит по голове. Пытаюсь закрыться мисочкой, но он вырывает ее из моих рук и швыряет в угол. И снова бьет, колотит. Не удержавшись на ногах, падаю. Хочу встать, но не могу - он пинает ногами. Как ни отворачиваюсь - все перед глазами блеск его сапог. Попал в рот!.. Еле перевожу дух. Губы сразу одеревенели, язык стал большим и тяжелым. А гитлеровец бьет, лягает, но теперь уже, кажется, не так больно. Только на пол капает кровь. Наверно, моя...

Наконец гитлеровцы ушли. Женщины подняли меня и помогли добраться до сенника. Они советуют закинуть голову, чтобы из носа перестала идти кровь. Они так добры, заботливы, что хочется плакать. Одна вздыхает: что он со мной, невинным ребенком, сделал! Другая проклинает его, а какая-то все старается угадать, за что он меня так избил... Может, неся на место мисочку, я слишком близко подошла к очереди, и он подумал, что хочу вторично получить суп?

Почему они так громко разговаривают? Ведь мне больно, все невыносимо болит! Хоть бы погасили свет! Не рассечена ли бровь? Она тоже болит. А передние зубы он выбил... (...)

На этот раз путь был недолгий. Мы въехали в какой-то большой двор. Он окружен высокой каменной стеной, над нею - несколько рядов колючей проволоки и лампы. Бараков нет. Есть только один большущий дом. В конце двора - навес с болтающимися по углам лампами. Оттуда доносятся очень приятные запахи. Неужели это кухня и нам дадут суп? Нас выстраивает немец в штатском. Темный полувоенный костюм и шапочка, очень похожая на арестантскую. Сосчитал нас и велел не трогаться с места, а сам ушел. Боязливо оглядываясь, к нам приблизились несколько мужчин. От них мы узнали, что лагерь называется Штрасденгоф и находится в предместье Риги Югле. Лагерь новый. Пока что здесь только сто шестьдесят мужчин из Рижского гетто. Женщин еще нет, мы первые. Будем жить в этом большом доме. Это бывшая фабрика. Мужской блок на первом этаже, наш будет на четвертом. Где нам придется работать - они не знают. Сами они работают на стройке. Работа очень тяжелая, тем более что работают голодные. Считавший нас немец, Ганс, - старший лагеря. Он тоже заключенный, уже восемь лет сидит в разных лагерях. За что - неизвестно. У него есть помощник - маленький Ганс. Комендант лагеря - эсэсовец, унтершарфюрер, ужасный садист. (...)

Мне велели носить камни. Мужчины мостят дорогу между строящимися бараками. Другие женщины привозят камни из оврага в вагонетках, а мы должны подносить их каменщикам. Конвоиры и надзиратели ни на минуту не спускают с нас глаз. Вагонетки должны быть полные, толкать их надо бегом и только вчетвером; разносить камни мы должны тоже бегом; мужчины обязаны быстро их укладывать. Все нужно делать быстро и хорошо, иначе нас расстреляют.

Камни ужасно тяжелые. Нести один камень вдвоем не разрешается. Катать тоже нельзя. Разговаривать во время работы запрещается. По своим нуждам можно отпроситься только один раз в день, при этом надо ждать, пока соберется несколько человек. По одной конвоир не водит. (...)

Пальцы я разодрала до крови. Они посинели, опухли, страшно смотреть.

Наконец раздался свисток на обед. Нас быстро выстроили и повели в лагерь. Стоявшие первыми сразу получали суп, а мы должны были ждать, пока они его выпьют и освободят мисочки. Мы их торопили: боялись, что не успеем.

Так и вышло. Я только отпила несколько глотков, а конвоиры уже погнали строиться. Выбили у меня из рук мисочку, суп вылился, а я, еще более голодная, должна была стать в строй.

Опять таскаю камни. Теперь они кажутся еще более тяжелыми. И дождь более надоедлив. Один камень выскользнул из рук - прямо на ногу.

Я еле дождалась вечера. Вернувшись в лагерь, мы получили по кусочку хлеба и мутной водички - «кофе». Я все это проглотила тут же, во дворе, - не было терпения ждать, пока поднимусь на четвертый этаж.

Я уже наловчилась носить камни, так теперь велели их дробить. Я, конечно, не умею. Стукну молотком - а камень целехонек. Ударю сильнее - но отскакивает только осколочек, и тот - прямо в лицо. Оно уже окровавлено, болит, я боюсь поранить глаза. А конвоир кричит, торопит. Один мужчина предложил научить меня, но конвоир не разрешил: я должна сама научиться. Закрываю глаза, плачу от боли и обиды и стучу... (...)

Уже ноябрь. (...) Привезли машину деревянных башмаков. Когда их сгружали, я осмелилась подойти к Гансу. Он велел показать ботинки. Потом приказал заведующей камерой одежды выдать мне пару башма-

ков, а ботинки забрать. Жаль было расставаться - последняя вещь из дому, но что поделаешь, если они так порвались.

В камере одежды даже не спросили, какой мне нужен размер. Схватили из груды первую попавшуюся пару и бросили мне. Эти башмаки очень большие, но просить другие бессмысленно - стукнут за «наглость». Засуну туда бумаги, чтобы нога не скользила, и буду носить. Это «богатство» - тяжелые куски дерева, обтянутые клеенкой, - тоже записывают, что, мол, «Hftling 5007» получила одну пару деревянных башмаков. «Заключенная 5007» - это я. Фамилий и имен здесь не существует, есть только номер. Я уже привыкла и отзываюсь. На фабрике им же отмечаю сотканный материал. (Я уже работаю самостоятельно.) На каждых пятидесяти метрах пряжи появляется синее пятно. На этом месте сотканный материал надо перерезать, с обоих концов написать свой номер и сдать. Сдавая, я, как и все, мысленно желаю, чтобы фашисты этот материал использовали на бинты.

Вначале, только научившись самостоятельно работать, я очень старалась и почти каждый день сдавала по пятьдесят метров. Теперь меня научили саботировать - отвинтить немножко какой-нибудь винтик или надрезать ремень, и станок портится. Зову мастера, он копаются, чинит, а потом вписывает в карточку, сколько часов станок стоял.

Каждый день у кого-нибудь «портится» станок, и все по-разному. (...)

Я говорила с одной рижанкой, которая знала тетю и дядю, до войны живших в Риге. К сожалению, оба уже в земле. Дядю расстреляли в первые дни, а тетя с двумя детьми была в Рижском гетто. Очень голодала, потому что не могла выходить на работу: негде было оставить детей. Так с обоими мальчиками и увели на расстрел.

Вчерашний ужас и вспомнить страшно, и забыть не могу. Вечером, когда работающие на стройке возвращались с работы, их у входа тщательно обыскали: конвоир сообщил, что видел, как прохожий сунул кому-то хлеб. Его нашли у двух мужчин - у каждого по ломтю. Во время вечерней проверки об этом доложили унтершарфюреру.

И вот проверка окончена. Вместо команды разойтись унтершарфюрер велит обоим «преступникам» выйти вперед, встать перед строем и раздеться. Они медлят - снег, холодно. Но удары плетью заставляют подчиниться. Нам не разрешают отвернуться. Мы должны смотреть, чтобы извлечь урок на будущее.

Из кухни приносят два ведра теплой воды и выливают им на головы. Бедняги дрожат, стучат зубами, трут на себе белье, от которого идет пар, но напрасно - солдаты несут еще два ведра теплой воды. Их снова выливают несчастным на головы. Они начинают прыгать, а солдат и унтершарфюрера это только смешит.

Экзекуция повторяется каждые двадцать минут. Оба еле держатся на ногах. Они уже не похожи на людей - лысая голова старшего покрылась тоненькой коркой льда, а у младшего волосы, которые он, страдая, рвет и ерошит, торчат смерзшимися сосульками. Белье совсем застывало, а ноги мертвенно белы. Охранники катаются со смеху. Радуются этому рождественскому «развлечению». Каждый советует, как лить воду. «В штаны!» - кричит один. «Голову окуни!» - орет другой.

Истязаемые пытаются отвернуться, отскочить, но их ловят, словно затравленных зверей, и возвращают на место. А если хоть немного воды проливается мимо, вместо вылитых «зря» нескольких капель приносят целое ведро. Несчастные только поднимают ноги, чтобы не примерзли к снегу.

Не выдержу! С ума сойду! Что они вытворяют!

Наконец гитлеровцам надоело. Велели разойтись. Гансу приказали завтра этих двух от работы не освобождать, даже если будет температура сорок градусов.

Старший сегодня умер. Упал возле вагонетки и больше не встал. Второй работал, хотя еле держался на ногах, бредил от жара. Когда конвоиры не видели, товарищи старались помочь ему как-нибудь продержаться до конца работы. Иначе ему не избежать расстрела. (...)

Эсэсовцы придумали новое наказание.

Может, это даже не наказание, а просто издевка, «развлечение». Скоро весна, и держать нас на морозе уже не так интересно.

После проверки Ганс велел перестроиться, чтобы между рядами оставался метровый промежуток. Затем приказал присесть на корточки и прыгать. Сначала мы не поняли, чего он от нас хочет, но Ганс так заорал, что, даже не поняв его, мы стали прыгать. Не удерживаюсь на ногах. Еле дышу. А Ганс носится между рядами, стегает плеткой и кричит, чтобы мы не симулировали. Только присесть нельзя, надо прыгать, прыгать, как лягушки.

Сердце колотится, задыхаюсь! Хоть бы на минуточку отдышаться. Колет бок! Везде болит, больше не могу! А Ганс не спускает глаз.

Одна девушка упала в обморок. Скоро и со мной, наверно, будет то же самое. Подойти к лежащей в обмороке Ганс не разрешает. Все должны прыгать. Упала еще одна. Она просит о помощи, показывает, что не может говорить. Кто-то в ужасе крикнул: «Она онемела!»

Наконец Ганс тоже устал. Отпустил. Лежащих без чувств не решил поднимать - «симулируют, сами встанут». А если на самом деле в обмороке, значит, они слабые и не могут работать, надо записать их номера. Женщины хватают несчастных и волокут подальше от Ганса. Сами не в состоянии выпрямиться, почти на четвереньках, мы тащим все еще не пришедших в сознание своих подруг. Но только до лестницы. По лестнице не можем подняться. Сидим на каменном полу и ртом хватаем воздух. Некоторые пытаются ползти, но, с трудом поднявшись на несколько ступенек, остаются сидеть. Я все еще задыхаюсь, не могу начать нормально дышать. Прошу одну женщину, чтобы помогла мне опереться о перила - может, придерживаясь, немного поднимусь. Но что это? Еле выдавливаю слово. Чем больше стараюсь, тем труднее что-нибудь сказать. (...)

Вдруг в дверях вырос Ганс. Осмотрел нас, покрутился и как ни в чем не бывало спросил, почему здесь так тихо. Ведь сегодня воскресенье, праздник - надо петь. Молчим. «Песню! - заорал он со злостью. - Или будете прыгать!» Одна затянула дрожащим голосом, другая запищала. Их несмело поддержало еще несколько хрипящих голосов. Пытаюсь и я. Рот раскрывается, а в него текут соленые слезы... (...)

Опять убежали! На этот раз из шелковой фабрики, и уже не трое, а девять человек - семь мужчин и две девушки.

В лагере паника. Снова должен приехать тот же главный шеф. Унтершарфюрер носится как бешеный. Орет на Ганса, что тот не умеет выстраивать «этих свиней». Нам грозит, что всех до одного расстреляет. Охранников пугает, что завтра же отправит их на фронт. Маленького Гансика ругает за то, что здесь много грязи. Увидев въезжающую машину шефа, умолкает. Бежит навстречу, вытягивается и рьяно кричит: «Хайль Гитлер!» Но шеф только зло выбрасывает вперед руку.

На этот раз, даже не считая, отбирает заложников: бежит вдоль строя и тыкает плеткой. Приближается к нам... Идет. Смотрит на меня... Поднимает руку... Плетка скользнула мимо самого лица. Ткнула Машу. Она сделал три шага вперед... Ее заберут!.. Расстреляют!..

Шеф подошел к мужчинам. Работающим на шелковой фабрике при-

казал выстроиться в один ряд. Двух отсчитывает, третьему велит выйти вперед, двух отсчитывает, третьему - вперед. И так весь ряд..

Отобранных выстроили перед нами. Маша тоже стоит среди них. Шеф произносит речь. Мол, виноваты мы сами. Он нас предупреждал: здесь все отвечают за одного. Нам вообще не следовало бы убежать. Ведь работой, крышей и едой мы обеспечены. Надо только хорошо работать, и мы могли бы жить. А за попытку бежать - смертная казнь. Не только тем, которых все равно поймают, но и нам. Черные машины въехали во двор... (...)

В лагере нас встретила мертвая тишина. Раньше мы на проверку выстраивались вдоль всего здания, а сегодня нас хватило только до дверей...

После проверки снова дали работу. Мужчины носили воду, а мы мыли полы, лестницу, даже крышу - смывали пятна крови.

Оказывается, когда обреченных гнали к машинам, мужчины пытались бежать. Одни полезли через забор, другие бросились в блоки, котельную, туалеты. Конвоиры, стреляя, побежали за ними. В блоках и на лестнице убивали прямо на месте. Двое повисли мертвыми на заборе. Найденного в котельной хотели бросить живым в огонь вместе с прятавшими его истопниками. Но больше всего пришлось возиться с одним рижанином, спрятавшимся в трубе. Его никак не могли оттуда извлечь. Выстрелили разрывными пулями, раздробили голову. Тело потом сволокли по лестнице. Бросили в машину вместе с живыми. На лестнице в луже застывшей крови остался комочек его мозга. Мы завернули его в бумажку и зарыли во дворе у стены. Вместо надгробья положили белые камушки...

Поздно вечером нас впустили в блок. Непривычно пусто. Разговариваем вполголоса, как будто здесь покойник. Спать ложимся все вместе, в одном углу. (...)

Получен приказ срочно эвакуировать лагерь. (...)

У ворот стоят офицеры. Они нас пересчитывают и выпускают внутрь. У входа постовой монотонно предупреждает, что подходить к ограде запрещается - она под током.

Мы входим в первую клетку. Ворота за нами закрывают. Открывают следующие, в другую такую же клетку. Снова закрывают. Пропускают в третью клетку. И так все дальше, все глубже в лагерь. Когда проходим мимо барачков, заключенные с нами заговаривают, спрашивают,

откуда мы. Хотя за разговоры охранники нас бьют, мы не удерживаемся и отвечаем. Из бараков к нам обращаются по-русски, по-польски, по-еврейски. У одного барака стоят ужасно худые женщины, очевидно больные. Они ни о чем не спрашивают, только советуют остерегаться какого-то Макса. (...)

Нас провели в самые последние - девятнадцатый и двадцатый бараки. Здесь уже стояло несколько эсэсовцев и один штатский, но с номером заключенного. Крикнув, чтобы мы выстроились для проверки, этот штатский сразу же начал нас бить и пинать. За что? Ведь мы равняемся, а он ничего другого не велел.

Я вытянулась, замерла. Но этот штатский подлетел, и я, даже не успев сообразить, в кого он метит, скрючилась от страшной боли. А эсэсовцы стояли в стороне и гоготали.

Этот изверг избил всех - от одного конца строя до другого, причесался, поправил вылезшую рубашку и начал считать. Но тут один офицер заметил, что уже пора обедать, и они ушли, оставив нас стоять.

На другом конце строя стоят несколько десятков женщин. Они рассказывают о здешней жизни, и каждое их слово шепотом передается из уст в уста. Они из Польши. В этих блоках еще только неделю, раньше были в других. Здесь хуже, потому что старший этих блоков - Макс, тот самый, который сейчас избивал. Это дьявол в облике человека. Нескольких он уже забил насмерть. Сам он тоже заключенный, сидит одиннадцатый год за убийство своей жены и детей. Эсэсовцы его любят за неслыханную жестокость.

Так вот что значит настоящий концентрационный лагерь! Выходит, в Штраденгофе еще было сравнительно терпимо... (...)

Пришли одетые в черное эсэсовцы, велели выстроиться и по одной проходить мимо них, показывая ноги. У кого на ногах очень много нарывов, тех сразу прогоняли, а у кого нарывов относительно немного, у тех проверяли еще и мышцы рук.

Я попала в число более крепких. Нас выстроили, сосчитали. Двух крайних погнали назад, чтобы осталось равное число - триста. Охранник открыл ворота и вывел нас в соседнее отделение. Мы вздохнули с облегчением: будем хотя бы подальше от страшного Макса. Теперь мы и от остальных своих отгорожены проволокой. Они, бедные, стоят у ограды и с завистью смотрят на нас: мы поедем на работу, а они останутся здесь.

Кто-то пустил слух, что нас пошлют в деревню, к крестьянам. Офицеры об этом говорили между собой. Хуже, очевидно, не будет. Слух, кажется, подтвердился.

Приходил охранник. Взял десять женщин, спросил, умеют ли они доить коров. Все, конечно, поспешили заверить, что умеют. А если меня спросят?.. Скажу правду - не возьмут. Совру, что умею, - это скоро выяснится, и меня вернут в лагерь. Что делать? Спрашиваю у других, что скажут они. Но женщины только смеются над моими сомнениями.

Охранник вывел тридцать шесть женщин, в том числе и меня. Каждой выдали по рваному солдатскому одеялу. У ворот ожидали какие-то люди. Они начали нас выбирать. Осматривают, щупают мышцы, спрашивают, не лентяйки ли. (...) На меня никто не обращает внимания, все проходят мимо. Наверно, не возьмут и придется вернуться в этот ад. Может, самой напроситься? Другие так делают. Говорю: «Ich bin stark» - «Я сильная». Но никто не слышит. «Ich bin stark», - повторяю уже громче. «Was, was?» - спрашивает какой-то старик. Начинаю быстро объяснять, что хочу работать, что я не ленива. «Ja, gut!» - отвечает он и проходит... Но, очевидно, передумав, возвращается. Отводит меня в сторону, где уже стоят три отобранные им женщины.

Подходит конвоир, записывает наши номера и ведет вслед за хозяином. Идем той же дорогой, которой пришли сюда. Домики так же уютно отдыхают под лучами солнца. Садимся в вагончик узкоколейки. Конвоир не спускает с нас глаз. У самого моего лица грозно блестит его штык.

Наш хозяин - невысокий, кривоногий, лысый старик; глаза - еле прорезанные щелочки, а голос - хриплый и злой. Нами он, очевидно, недоволен. Жалуется конвоиру, что от такой падали не будет никакой пользы. У него уже было четверо таких, как мы, те были из Венгрии, но скоро ослабели, и пришлось увезти их прямо в крематорий. Ну и попались! А я, дура, еще сама напросилась.

Поезд остановился, и мы слезли. Оказывается, за вокзалом хозяин оставил свою двуколку. Конвоир связал нам руки и еще привязал нас друг к другу. Сам уселся рядом с хозяином, и мы двинулись. Отдохнувшая лошадь трусила рысцей. Мы должны были бежать, иначе веревки врезались бы в тело. Мы задохались, еле дышали, но боялись это показать: хозяин скажет, что мы слабые, и сразу пошлет назад, в крематорий. (...)

Наконец свернули на узкую дорожку, проехали мимо пруда и оказались на большом дворе. Величественно красуется дом, зеленеет сад; поодаль стоят хлев, сарай, конюшни. Видно, крепкое хозяйство. Хозяин еще раз проверил наши номера и расписался, что принял нас от конвоира. Развязывая руки, прочел проповедь: мы обязаны хорошо и добросовестно работать, не саботировать и не пытаться бежать. За саботаж он пошлет нас прямо в крематорий, а при попытке бежать - застрелит на месте. Так напугав, повел в предназначенную для нас каморку. Она в самом конце хлева, полутемная, потому что свет проникает через малюсенькое, засиженное мухами оконце. За стеной хрюкают свиньи... Сенников и подушек нет, только в углу набросано сено. Это будет наше ложе. Просить сенники бессмысленно - все равно не даст. Я осмелилась сказать, что мы очень голодны: сегодня еще ничего не ели. Хозяин скривился и велел следовать за ним. В сенях приказал снять башмаки: в кухню можно входить только босиком. В комнаты входить нам вообще запрещается. Это я должна передать и своим подругам. (...)

Если б не рижанка Рая, мы бы хоть в эту минуту могли забыться, не терзать сердце. Но она ни на минуту не умолкает. Уже в третий раз за эти несколько дней она все с новыми подробностями рассказывает о том, как потеряла своего ребенка. В Рижском гетто она еще была с мужем и ребенком. Узнав, что детей заберут, они решили покончить с собой. Муж сделал укол ребенку, затем ей и себе... К сожалению, они проснулись. Ребенка не было. Они даже не слышали, когда его забрали. Теперь ее мучает страх, что ребенок, может быть, проснулся раньше их и плакал в испуге, будил их, а они не слышали... Может, палачи его били, выкручивали ручки. Ведь он, наверно, вырывался от них... Муж почти лишился рассудка. Он никак не мог понять, почему яд не подействовал... (...)

Нас возвращают в лагерь. (...)

Нас повели в баню, велели раздеться и впустили в большой предбанник. Войдя туда, мы обомлели: прямо на каменном полу сидели и даже лежали страшно изможденные и высохшие женщины, почти скелеты с безумными от страха глазами. Увидев за нашими спинами надзирательниц, женщины стали испуганно лепетать, что они здоровые, могут работать и просят их пожалеть. Тянули к нам руки, чтобы мы помогли им встать, тогда надзирательницы сами убедятся, что они еще могут работать...

Я шагнула, чтобы помочь сидящей вблизи женщине, но надзирательница отшвырнула меня назад. Властно чеканя слова, она велит не поднимать паники - всех помогут и вернут в лагерь. Когда поправятся - смогут вернуться на работу. Мыться должны все без исключения: грязных в лагерь не пустят.

Нам она приказывает этих женщин раздеть и вести в соседнее помещение, под душ. От страшного запаха меня мутит. Хочу снять с одной женщины платье, но она не может встать: ноги не держат. Пытаюсь поднять, но она так вскрикивает от боли, что я замираю. Что делать? Поглядываю на других. Оказывается, они мучаются не меньше меня. Надзирательницы дают нам ножницы: если нельзя снять одежду, надо разрезать.

Ножницы переходят из рук в руки. Получаю и я. Разрезаю платье. Под ним такая худоба, что даже страшно дотронуться. Кости прикрывает только высохшая морщинистая кожа. Снять башмаки женщина вообще не позволяет - будет больно. Я обещаю верх разрезать, но она не дает дотронуться. Уже две недели не снимает башмаков, потому что отмороженные, гноящиеся ступни приклеились к материалу.

Что делать? Другие уже раздели нескольких, а я все еще не могу справиться с одной. Надзирательница это, видно, заметила. Подбежала, стукнула меня по голове и схватила несчастную за ноги. Та душевраздирающе закричала. Смотрю, в руке надзирательницы башмаки с прилипшими к материалу кусками гниющего мяса. Меня затошнило. Надзирательница раскричалась, но я плохо понимала ее. (...)

Когда надзирательница отвернулась, я спросила у одной женщины, откуда она. Из Чехословакии. Врач. Привезли в «Штуттгоф», а затем, как и нас, увезли на работу. Они рыли окопы. Работали, стоя по пояс в воде. Спали на земле. Когда обмороженные руки и ноги начали гноиться, вернули в лагерь. (...)

Эпидемия! Она охватит всех, невзирая ни на возраст, ни на вид. Тиф не разбирает... К тому же нас, конечно, не будут лечить. Может, даже нарочно заразили, чтобы мы вымерли. Не заболевают ли от этого страшного супа? Может, он такой острый не от перца?

Как уберечься? Как найти в себе силы не есть этот суп, нашу единственную пищу? Как научиться совсем-совсем ничего не есть, даже не сосать этот грязный снег? Кажется, я заболеваю. Голова тяжелая и гудит. Во время проверок меня поддерживают под руки, чтобы я не упала. Неужели это тиф?!

Я болела... Женщины рассказывают, что в бреду я напевала какие-то песенки и страшно ругала гитлеровцев. Они даже не подозревали, что я знаю столько ругательных слов. Хорошо, что голос слабенький, да и гитлеровцы сюда больше не заходят - боятся заразиться. За такие слова пристрелили бы на месте.

А мне неловко, что я ругалась. Объясняю, что у нас в семье никто никогда... Папа адвокат. Женщины улыбаются моим объяснениям...

Говорят, что я выкарабкалась. Переболела. А мне кажется, что они ошибаются. Это, наверно, было что-нибудь другое, еще не тиф. Ведь тиф - страшная болезнь! Я бы так просто, без лекарств, не выздоровела, ведь умирают более крепкие, чем я. Но женщины объясняют, что тиф как раз сокрушает крепкие, никогда не болевшие и поэтому не привыкшие бороться с болезнью организмы. Знала бы мама, как спасли ее мучения со скарлатинами, желтухами и плевритами моего детства!..

Во двор умыться снегом ползу на четвереньках. Встать не могу - перед глазами расплываются зеленые круги.

Здесь настоящий лагерь смерти. Гитлеровцы уже не следят за порядком. Проверок нет: они боятся войти. ЕСТЬ не дают. Даже так называемый суп получаем раз в два-три дня. Иногда вместо него приносят по две мерзлые картофелинки. Хлеба мы уже давно не видели. А есть ужасно хочется: я начинаю выздоравливать. Донимают вши. Уже не стесняюсь, давим. Но, к сожалению, их не становится меньше.

Умерла красавица Рут. Начали гноиться ноги, потом руки. И вот она умерла... В последнее время уже не вставала. А ведь еще в Штраценгофе она была такая красивая! Всегда бодрая, не поддающаяся плохому настроению. Как она верила, что мы дождемся свободы и что она встретится с мужем! Теперь ее, страшно распухшую, сунут в печь крематория. Все. Молодость, красота, жизнелюбие превратятся в пепел...

Кто-то уверяет, что уже Новый год. Слышал, как один постовой поздравлял с Новым годом надзирателя.

Значит, уже 1945-й... В этом году война наверняка кончится. Ведь гитлеровцев уже добивают. Но... Не зря говорят, что смертельно раненный зверь страшен вдвойне. Неужели мы будем его предсмертными жертвами? Не может быть! Зачем думать, что, отступая, обязательно уничтожат нас? А может, не успеют? И тогда мы будем свободны! Может, и мама с детьми в каком-нибудь лагере? Их тоже освободят. И папа вернется. (...)

Рая, с которой мы вместе работали у помещика, рассказывает, что слышала от разносчика супа, будто ночью в крематории был пожар. Сгорела газовая камера. Предполагают, что кто-то поджег. Нас это все равно не спасет.

Жуть! Я спала, уткнувшись в труп. Ночью я этого, конечно, не чувствовала. Было очень холодно, и я уткнулась в спину соседки. Руки подсунула ей под мышки. Кажется, она зашевелилась, прижимая их. А утром оказалось, что она мертва...

Пришла надзирательница. Велела всем, кто уже переболел, выстроиться. Думая, что будут отправлять на работу, пытались встать и больные. Но она сразу заметила обман. Нас очень немного. Надзирательница отобрала восьмерых (в том числе и меня) и заявила, что мы будем «похоронной командой». До сих пор был большой беспорядок, умершие по нескольку дней лежали в бараках. Теперь мы обязаны умерших сразу раздеть, вырвать золотые зубы, вчетвером вынести и положить у дверей барака. По утрам и вечерам мимо будет проезжать лагерная похоронная команда и увозить трупы. (...)

Подходим к одной женщине, которая умерла сегодня утром. Беру ее холодную ногу, но поднять не могу, хотя тело умершей совершенно высушенное; остальные три уже поднимают, а я не в состоянии. Надзирательница дает мне пощечину и сует в руки ножницы и плоскогубцы: я должна буду раздевать и вырывать золотые зубы. Но если осмелюсь хоть один присвоить - отправлюсь вместе со своими пациентками к праотцам. (...)

Словно насмехаясь надо мной, покойница сверкает золотыми зубами. Что делать? Не могу же я их вырвать! Оглянувшись, не видит ли надзирательница, быстро зажимаю плоскогубцами рот. Не станет же она проверять. Но надзирательница все-таки заметила. Она так ударяет меня, что я падаю на труп. Вскрываю. А она только этого и ждала - начинает колотить какой-то очень тяжелой палкой. И все метит в голову. Кажется, что голова треснет пополам, а надзирательница не перестает. На полу кровь...

Она избивала долго, пока сама не задохнулась. (...)

Мы уже целую неделю в Стрелентине. Это бывшее поместье. (...) Нас держат запертыми в хлевах. (...)

Страшно загремело. Один за другим слышались глухие взрывы. Сидевшая рядом с нами собака конвоира насторожилась. И видневши-

еся у сарая гитлеровцы засуетились. Одни смотрят в небо, другие спорят между собой. (...) Что это? Конвоиры подкатывают к сараю бочки! Подождут! Мы будем живыми гореть!..

Нас впускают в сарай. Там много женщин, не только из нашего лагеря. Тут же, прямо на земле, в смеси отрубей, сена и навоза, лежат умирающие и умершие. Им уже все равно... Сказать или нет? Промолчу. Пусть не знают, будут спокойнее. Нет, скажу. Хоть одной. Шепчу эту страшную весть соседке слева. Но она меня, кажется, не поняла. Или не слышала - кругом гремят взрывы. Говорю другой. Та с криком бросается к щелке, смотрит. (...) Ужас охватывает и многих других. Все начинают стучать, метаться. Но никто ничего не видит. Охранников нет.

Гудит... Приближается! Самолеты? Меня трясут за плечи. Кто? Снова эта венгерка. Спрашивает, понимаю ли я по-польски. Что он кричит? Он кричит, что в деревне уже Красная Армия, а гитлеровцы удрали. (...) Почему такой шум? Почему все плачут? Куда они бегут? Ведь растопчут меня! Помогите встать, не оставляйте меня одну!

Никто не обращает на меня внимания. Хватаясь за голову, протягивая вперед руки, женщины бегут, что-то крича. Спотыкаются об умерших, падают, но тут же встают и бегут из сарая. А я не могу встать.

За сараем слышны мужские голоса. Красноармейцы?! Неужели они?! Я хочу туда! К ним! Как встать?

В сарай вбегают красноармейцы. Они спешат к нам, ищут живых, помогают встать. Перед теми, кому их помощь уже не нужна, снимают шапки. «Помочь, сестрица?»

Меня поднимают, ставят, но я не могу двинуться, ноги дрожат. Два красноармейца сплетают руки, делают «стульчик» и, усадив меня, несут.

Из деревни к сараю мчатся санитарные машины, бегут красноармейцы. Один предлагает помочь нести, другой протягивает мне хлеб, третий отдает свои перчатки. А мне от их доброты так хорошо, что сами собой льются слезы. Бойцы утешают, успокаивают, а один вытаскивает носовой платок и, словно маленькой, утирает слезы.

- Не плачь, сестрица, мы тебя больше в обиду не дадим!

А на шапке блестит красная звездочка. Как давно я ее не видела!..